
*Общие вопросы культурологи***КОМПЕТЕНТНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКИ***В.Н. Расторгуев*

Гражданское общество воспринимается сегодня одновременно и как *самоценность*, и как *инструмент* для достижения целей, не имеющих никакого отношения ни к гражданскому обществу, ни к его ценностям. В первом случае можно говорить о ценностях гражданского общества, об их иерархии или, по Т. Парсонсу, о латентности как о функциональном императиве социальной системы. Во втором случае гражданское общество рассматривается как *инструмент*, который используется политическими акторами (властью и оппозицией) или отдельными социальными группами и «группами влияния».

Инструментальный подход к изучению гражданского общества предполагает вычленение особого типа ценностей – «ценностей для...». При таком подходе ничто не мешает определять ценность гражданского общества для социальных систем самого разного типа и уровня, например, для становления и самоидентификации наций, государств или цивилизационных миров, преемственности и воспроизводства национальных культур. В самом упрощенном и, увы, в самом распространенном варианте инструменталистская интерпретация гражданского общества приводит к узко-прагматичной, а, по сути, циничной установке, согласно которой все спекуляции по этому поводу – не что иное, как миф или изобретение политтехнологов, использующих политическое мифотворчество для профанирования массового сознания и бесконтрольного применения технологий «политической инженерии». По этой причине историко-философская и методологическая пропедевтика становится особо значимой и для исследовательских программ, и для научного обеспечения политики, направленной на стимулирование институтов гражданского общества, и для совершенствования образовательных стратегий в процессе преподавания политических наук.

Гражданское общество в его традиционном понимании, идущем от немецкой классической философии, интерпретируется как своеобразное *средостение* между государством и человеком. Соответственно, основная и непреходящая функция гражданского общества – защита гражданина и семьи от гигантской, неповоротливой и бездушной государственной машины, а также защита государства от неуправляемых «социальных атомов». Перед лицом общих угроз и (или) для защиты групповых, профессиональных и других корпоративных интересов отдельные «люди-атомы» по необходимости объединяются в самоуправляемые сообщества, добровольно отдавая им часть своих прав и получая за это качественно новый уровень гражданских свобод и гарантий.

Все остальные дефиниции гражданского общества факультативны, так как они способны лишь сузить сферу применимости этого понятия в языке современной публичной политики. При этом никто не отрицает, что в рамках *авторских научных концепций* допустимы любые интерпретации, которые, впрочем, могут быть непродуктивными в случае их некритического использования в других теориях, а тем более в процессе их превращения в политические доктрины. Если, к примеру, включить в определение гражданского общества набор дополнительных обязательных качеств и условий, например, наличие строго определенных форм собственности или «рекомендованных» конфессий, «государственных религий» и типов политического устройства по единственно приемлемому «демократическому» образцу, то о гражданском обществе можно будет говорить применительно только к небольшой группе стран.

Очевидно, что в этот список войдут «оплоты» западного мира, которые все чаще относят себя к «постхристианской цивилизации» (пример – известные принципы проекта Европейской конституции, которые вызвали жесткую критику со стороны христианских церквей и стали камнем преткновения на пути к ее принятию). Но любая попытка навязать миру единственно приемлемый образец политического устройства имеет такое же отношение к принципам демократии, какое имеют эти принципы к принципам тоталитарного мироустройства. К сожалению, именно так понимают процесс экспорта демократии некоторые домощенные теоретики от политики, которые предлагают российскому государству «присмотреться к протестантизму» или новомодным сектам, так как православие, по их мнению, «препятствует развитию рынка» и плохо стыкуется с их либеральными идеалами.

Серьезно обсуждать столь примитивные построения, конечно, невозможно, но считаться с риском их навязывания незрелым политическим институтам все-таки приходится. Некоторые авторы идут еще дальше, дополняя список требований к гражданскому обществу положениями, взятыми из различных международных хартий наших дней. Среди этих требований – и гендерные права, которые, безусловно, заслуживают уважения, и права некоторых сексменьшинств, которые не заслуживают, но требуют признания (их список постоянно расширяется в полном соответствии и с динамикой разрушения цивилизационно-конфессиональных устоев обществ). Сюда же можно отнести классификации «правильных» и «неправильных» неправительственных организаций, а также мультикультурологические критерии «подлинно либерально-демократического общества», выработанные, например, в духе негативных свобод, и многое другое. Если все это: и доброе, и недоброе, и разумное, и безумное – поднять на уровень признанной политической доктрины, то сразу обнаружится, что в список кандидатов в некое *мировое гражданское общество* вряд ли удастся включить даже те страны Европейского Союза, которые сохраняют традиции и уважительное отношение к культурно-конфессиональному наследию. К тому же список будет ограничен жесткими, но совершенно произвольными временными рамками (современность в понимании отдельных современников).

Наши предки, создавшие великие национальные культуры и государства, никогда не согласились бы на *такое* продолжение человеческой истории. Однако политиков, ратующих именно за такую коррекцию гражданской истории, видимо, вполне устраивает, что благодаря введению новых критериев из «круга избранных» будет исключен почти весь мир – от стран и народов Южной Америки и Азии до России на всех этапах ее развития, вплоть до наших дней. Для многих политологов, включившихся сегодня в раскрутку политических *цивилизаторских* доктрин (цивилизаторство как навязывание единой модели мироустройства – антипод цивилизованности), определяющих четкие и жесткие контуры «истинного» гражданского общества» как некоего универсального образца для «нецивилизованного мира», существенна не научная корректность выдвинутых гипотез и предположений. Для них существенна лишь политическая целесообразность ими же принятых положений и постулатов. И если такая позиция сделает бессмысленными, к примеру, кантовскую и гегелевскую интерпретацию проблемы или блестящий сопоставительный анализ русского и западного типов гражданского общества, проведенный В.О. Ключевским (ценности русского гражданского общества XI и XII веков), то с точки зрения адептов политической целесообразности тем хуже для Канта, Гегеля и Ключевского...

Классическая и достаточно широкая трактовка гражданского общества, позволяющего осуществлять сопоставительный анализ его разновидностей на основе методологической толерантности и уважительного отношения к непохожим культурам, была и остается, по нашему мнению, продуктивной и в научном плане, и применительно к задачам политического планирования. Из нее следует в частности значимый для реальной политики вывод о том, что вытеснение традиционных социальных институтов и организаций, выполняющих функции «средостения» и придающих обществу «пористую структуру», делает навязываемые модели «универсального мирового гражданского общества» чрезвычайно уязвимыми, подрывает основы суверенитета, обеспечивающего, по Ю.Хабермасу, функционирование институтов гражданского общества. Сохранение и защита традиционных институтов гарантирует, во-первых, относительную защищенность человека, осознающего себя не только подданным, но и гражданином, имеющим свою собственную гражданскую нишу (общину, группу, корпорацию), и, во-вторых, более высокую степень устойчивости политической системы и режима, возрастающую благодаря балансу частных, корпоративных и личных интересов.

Государство при всем желании не сможет предотвратить ущемление прав маленького человека, особенно в тех случаях, когда эти права вступают в противоречие с так называемыми «высшими соображениями», за которыми чаще всего стоят низменные узкогрупповые интересы. Иное дело, когда власть сталкивается с коллективной волей, например, с позицией влиятельных неправительственных организаций и сплоченных групп, способных оказывать действительное влияние на властные структуры и даже добиваться участия в делах власти: с их артикулированными интересами придется считаться и политической

элите, и чиновникам всех уровней. То же можно сказать и о позиции «маленького человека». Он, конечно, и «мал», и слаб, но благодаря этому может уйти из-под любого контроля, способен к нестандартным решениям, а его мотивации и реакции трудно предсказуемы. В отличие от государства человек обладает разумом, который по изобретательности не сравним с «коллективным разумом» чиновничьей машины. Предсказуемость социального поведения в «нелагерных» условиях, гражданская культура и традиционное право, без которого нет действенного правосознания, развитое чувство собственного достоинства, не противоречащее гражданственности и патриотизму, – все эти социальные качества сохраняются, развиваются и эволюционируют в процессе становления традиционного гражданского общества.

Следует учесть, что современное гражданское общество – это не только «средостение» и «пористая структура», не только исторически сложившиеся формы и институты самоорганизации и самоуправления, но и целый набор специально сконструированных *политических имплантантов*, вживленных в общество, особых *имитационных структур* или, как теперь модно говорить, симулякров. Все это многообразие создается, искусственно поддерживается, финансируется из закрытых источников и целенаправленно развивается с одной целью. И цель эта – превращение гражданского общества в некое подобие детского конструктора, послушного воле того, кто его купил, то есть творцов нового порядка (национального, регионального, мирового). Именно этот набор имплантантов становится орудием скрытого *внешнего управления* в том случае, когда тоталитарное и богоборческое государство заходит слишком далеко в деле разрушения *несущих конструкций* (традиционных институтов) гражданского общества, к которым относятся, в частности, и приходы культуuroобразующих конфессий.

Анализ трансформаций гражданского общества предполагает у тех, кто его осуществляет, определенную систему нравственных ориентиров и ценностей. Дело в том, что деструктивные процессы, происходящие в социуме и в душах людей под влиянием *нигилистического освобождения*, остаются незаметными для этически нейтрального взгляда. Вместе с тем именно эти деструкции модифицируют саму «генетическую систему» возрождающегося гражданского общества, приспособлявая его к нуждам текущей политики, но делая незащищенным от скрытой политизации и социальной атомизации. Структуры, симулирующие самоорганизацию, можно уподобить «вирусам» или даже «кукушатам», подложенным в родовое гнездо лишь для того, чтобы вытеснить конкурентов и разрушить их традиционные институты, питаясь их же ресурсами.

Яркой иллюстрацией сказанному могут служить бесчисленные и, как правило, международные сетевые организации так называемых «меньшинств». Несмотря на то что некоторые из них культивируют социальные патологии и превращают девиантное поведение в норму, бросая вызов национальным культурам и традиционным конфессиям, именно они приобретают исключительные привилегии и статус влиятельных международных неправительственных орга-

низаций, а иногда и акторов мировой политики. Их роль порою значительно выше, чем, например, роль государств с «поврежденным суверенитетом» и организаций, представляющих национальные меньшинства, – малочисленные этнокультурные группы, находящиеся на грани исчезновения и действительно нуждающиеся в особой поддержке со стороны мирового сообщества. Сам факт подобного сопоставления уже не воспринимается как оскорбление ни для государств «второго сорта», ни для малочисленных народностей, поскольку давно стал нормой мировой политики.

Эффективность подобных инверсий сделали их излюбленным оружием политического воздействия, способным включить механизмы *саморазрушения* в обществах, которые в течение долгого времени по разным причинам (идеологическим, социокультурным, конфессиональным) проводили изоляционистскую политику по отношению к Западу. Тот факт, что подобные технологии принесли ожидаемый эффект, ускорив падение ряда тоталитарных государств, не может и не должен служить оправданием проектов построения универсального *лжегражданского общества*. Оно по своей природе не способно прижиться на национальной почве и по этой причине вынуждено ее разрушать, стирая грань между борьбой с тоталитарным государством и борьбой с государственностью и суверенитетом, между политическим планированием и внешним управлением, между служением и предательством.

Сведение *свободы выбора к свободе от* (солидарности, долга, веры) может рассматриваться в качестве особой формы скрытого нигилизма, в том числе и правового. Согласно этой идеологеме, широко распространенной в современной политике и политологии, сущность свободы заключается в праве индивида, имеющего возможность защиты собственных интересов правовыми методами (стоимость *возможностей* – по прейскуранту и по финансовым ресурсам клиента), на беспрепятственную реализацию своих прав без вмешательства и ограничений со стороны других лиц или социума. При этом права наций, этнокультурных, конфессиональных и цивилизационных общностей или полностью игнорируются, или рассматриваются как равноценные правам любого частного лица и меньшинства любого типа.

По определению И. Берлина, концепция которого соответствует наиболее распространенному в современных демократических обществах либерально-антиклерикалистскому и функциональному (нормативному) пониманию свободы, человек свободен только в той мере, в какой никто – ни другой человек, ни группа – не препятствует его действиям. Таким образом, политическая свобода, по мысли Берлина, представляет собой всего лишь некую область, в рамках которой человек может действовать, не подвергаясь вмешательству со стороны. В соответствии с этой позицией любые утверждения о том, что, к примеру, бедность или обнищание населения в условиях демократии делает человека несвободным, лишены, по его мнению, всякой основательности, поскольку, если хромота не позволяет бегать, то было бы неестественно видеть в ней отсутствие свободы, тем более – политической.

Формирование демократических институтов и восстановление в правах гражданского общества только тогда станут стимулом устойчивого развития, когда будут основываться не только на негативных, но и на позитивных свободах, начиная со свободы доступа к духовному и культурному наследию, на принципах социального служения и служения истине. Человечество, как и столетия назад, разделено неустойчивыми политическими границами и устойчивыми фобиями, но оно изначально объединено стремлением к истине, не признающей ни границ, ни фобий, ни ложных кумиров.

По этой причине, например, создание Общественной Палаты менее всего требовало спешки от исполнительной и законодательной власти. Цель создания Общественной Палаты в условиях современной России заключается не в том, чтобы *увенчать* пока еще рыхлые и неустойчивые институты российского гражданского общества некоей надстройкой, соединяющей их с властной вертикалью. Такая надстройка раздавит ростки гражданской самостоятельности прежде, чем раскроет их потенциал. Единственно оправданная цель и функция создания Общественной Палаты состоит в том, чтобы отделить зерна от плевел – возрождающиеся и формирующиеся традиционные институты подлинного самоуправления, а также профессиональные корпорации и возрождающиеся общины от политизированных центров организованного внешнего давления, созданных для искусственного возбуждения центробежных тенденций и разжигания сепаратистских настроений. При этом усилия Общественной Палаты по стимулированию гражданственности не будут сколько-нибудь эффективными, если ее деятельность сведется к борьбе и противодействию, к поиску и выявлению врага (даже если он реален). Задача в другом – в поддержке традиционных национальных укладов жизни, в сохранении цивилизационных ценностей единой России, благодаря которым в течение столетий она была защитницей народов и культур. Эта задача диктует и требования к членству в Общественной Палате.

Исторический путь России подтверждает, что свобода научной мысли даже в условиях жесткой тоталитарной системы при отсутствии многих политических прав и свобод позволяла сохранять отдельные жизнеспособные элементы гражданского общества, наращивать качественный человеческий капитал и системный потенциал страны. И напротив, расширение политических свобод, разгосударствление и восстановление институтов гражданского общества – все это само по себе не является и никогда не станет гарантом сохранения человеческого капитала и приращения национального потенциала, если недостает созидательной политической воли, ответственности перед Богом и обществом.

Свобода мысли и академическая демократия как основной инструмент защиты этой свободы крайне редко уживаются с сильной политической властью, но никогда – с безвластием и властью анархии. Бесхребетные режимы, не способные преодолеть хаос, а также страны-аутсайдеры и государства, которые относятся к категории стран-клиентов и так называемых «несостоявшихся стран», не получивших либо утративших реальный суверенитет и возможность самостоятельного выбора, не могут позволить себе такую роскошь, как свобода интеллек-

туального выбора. Поражение разума, интеллектуальная и духовная несвобода – расплата за явную или скрытую слабость и неустойчивость институтов власти. И такой исход не зависит ни от того, в какие классификационные схемы мы пытаемся «упаковать» те или иные режимы, ни от того, как они сами себя определяют (национально-этнические, теократические, демократические и прочие).

Академическая демократия при всем ее своеобразии и видимом «недемократизме» (косность и неотзывчивость на вызовы времени, пожизненно присуждаемые научные степени и звания, обилие запутанных иерархических барьеров, «внутрисловных» градаций, правил и парадигм, нагромождение условностей, от которых веет духом средневековья, и т.п.) лишена указанного порока современной политической демократии. Академическая демократия несклонна, прежде всего, к *двойным стандартам* – не афишируемому, но неизбежному условию соблюдения партийной дисциплины и чистоты политической линии. Несклонна, во всяком случае, в своем отношении к окружающей действительности как к объекту познания и предмету знания. Особенность академической демократии заключена в том, что научное сообщество присягает на верность не народу, как это делают политики, а истине. А истину не выбирают, ею не управляют, ее невозможно ни обмануть, ни обольстить. Это она, истина, управляет миром, назначая цену человеческим ошибкам и заблуждениям, и сама выбирает, кому открыться, а кому нет. Истина может исходить и от либералов, и от их противников, и даже от прямых врагов всякой демократии. И точно так же ложь вполне может быть инструментом как в руках тиранов, так и в руках не слишком щепетильных борцов за идеалы свободы (достаточно вспомнить о бесчисленных «обоснованиях» вторжения в Ирак).

Академическая демократия, когда она строго соблюдается, кстати, во многом благодаря своим многочисленным недостаткам (прежде всего косности и консерватизму), свободна от служения политической конъюнктуре, идолам времени сего. Она вскормлена не духом вечного противостояния лагерей и фронтов, а вольным духом познания, попирающего авторитет вождей, неизблемость временных и пространственных границ, поскольку познанию доступны трансвременные связи и, в частности, метаисторические законы. Но если временные границы не сдерживают мысль, то что же говорить о государственных границах (научные знания – единственно последовательные интернационалисты) или о еще менее ненадежных политических пристрастиях и государственных установлениях?

Почему же тогда академическая демократия, противопоставляющая себя любому внешнему господству и исторически возникшая именно из этого противопоставления, не вызывает ни паники, ни ощущения угрозы, ни даже чувства самозащиты у разумной власти? Почему только полуобразованные и маргинализированные радикалы, получив власть, начинают самозащиту с «профессорских пароходов» и гонений на светочей духовности, с составления списков запрещенных книг, аутодафе или кардинальной ломки системы народного обра-

зования? Ответ достаточно прост: сфера знания живет своей внутренней жизнью и, проникая в суть многих явлений, вовсе не стремится к их разрушению¹.

При этом академическая демократия полагается не на популистские обещания политических прав и свобод (немедленно, всем и каждому и в полном объеме!), которые разбрасывают политики всех школ и течений, а на неизменные, сохранившиеся в течение столетий академические свободы и формы легитимации научного сообщества. Она обосновывает свои претензии на универсальность не на военной мощи и не на силовом подавлении недостаточно свободных и демократичных соседей (когда они плохо вооружены), а на принципе культурной преемственности, уважения к иерархическому устройству мира знаний и мира тех, кто их хранит и производит, а также на верности жизнеспособным корпоративным традициям.

Роль академической демократии в становлении демократии политической обусловлена тем самоочевидным обстоятельством, что последняя прививалась и прививается именно в стенах вузов и, прежде всего, университетов. Именно университеты всегда были, есть и будут в любом из сколько-нибудь развитых в культурном отношении государств и сообществ носителями уникальной функции, которую можно назвать *демократизацией духа и мышления*. Эта скрытая функция обнаруживает себя не непосредственно, не во взаимоотношениях университета и государства (чем выше зависимость финансирования от политической ангажированности, тем слабее конструктивное влияние университетов), а через совершенствование культуры мысли, что служит подлинной и устойчивой демократизации гражданского общества. Остановимся на нескольких проявлениях этой функции.

Во-первых, академическая демократия – это единственная в своем роде *надполитическая, надсословная, а в определенном смысле и трансгисторическая территория духа, где осуществляется встреча поколений и цивилизационных миров*, где стираются и лишаются смысла многие социальные, культурные и даже возрастные барьеры. Университеты можно по праву назвать *высшей школой сотрудничества и социального партнерства*, где лучшие представители национальной и мировой элиты (научной и культурной) считают своим общественным долгом и, что особенно важно, профессиональным призванием поиск молодых талантов. Эта установка для подавляющего большинства участников образовательного процесса, как правило, не зависит от того, кто является носителями талантов – дети бедняков или миллионеров, соотечественники или иностранцы, сторонники какого-нибудь политического культа или люди аполитичные, атеисты или верующие, единоверцы или инославные. Все эти качества, не говоря уже о национальных и расовых отличиях, если и учитываются, то в значительно меньшей степени, чем наличие таланта. Столь универсальная толерантность редко встречается в других пластах и стратах демократического общества, но проникает в его высшие эшелоны из стен университетов, влияя на общее состояние политической культуры.

Во-вторых, академическая демократия является *школой служения* истине и призванию, если, конечно, призвание лежит в сфере научно-педагогической деятельности, а также *школой профессионального становления, самоопределения и социокультурной самоидентификации* для студенческой молодежи. При этом университеты остаются местом службы для подавляющего большинства представителей научного сообщества, что качественно изменяет характер самого научного труда, стимулируя межпоколенческие связи и становление научных школ. Всему, чему нельзя научить, можно научиться, имея пред собой пример наставника.

В-третьих, университеты – это *сфера сопричастного развития и непринужденного, обусловленного спецификой совместной деятельности диалога культур*. Это относится, прежде всего, к национальным культурам, представители которых обитают в едином и напряженном глобальном информационном пространстве современной науки, которое возникло задолго до появления электронных информационных сетей. Они по необходимости участвуют в совместных научных проектах и, главное, говорят на одном языке – *языке своей науки*, чему, как известно, не препятствуют ни языковые, ни культурные различия. Тезис об интенсивном диалоге культур как одной из характеристик академической демократии относится и к субкультурам разного типа – как возрастным, так и профессиональным. И те, и другие являются одновременно и объектами междисциплинарных исследований, и, косвенно, их субъектами, поскольку самоидентичность наций в немалой степени строится на самоидентификации их представителей с великими именами своих мыслителей, с национальными достижениями *отечественной науки и техники*.

В-четвертых, университеты остаются *основными центрами консолидации и воспроизводства национальной элиты* – не только научной, но и культурной в самом широком понимании этого слова, а также, что не менее важно, политической элиты. Последнее с некоторыми, но существенными оговорками относится и к России. О каких оговорках идет речь? Вопрос деликатный, но требующий артикуляции. Само выражение «политическая элита» было неприменимым по отношению к «слугам народа» эпохи построения бесклассового общества по принципиальным соображениям идеологического характера. Среди них – и неизменные политические установки на равенство по формуле «уравниловки», и неполнота политических функций власть предержащих (элита без «права ношения лица» и со строго ограниченными полномочиями), и очевидное несоответствие «руководящей прослойки» минимальному набору требований к национальным элитам. Среди немаловажных отличий доморощенной советской элиты, которые, судя по всему, передаются по наследству ее *право- и нравопреемникам*, можно, вероятно, назвать и генетический фактор – результат многолетнего искусственного отбора и «внутривидового скрещивания» в среде потомственной партноменклатуры. Тот факт, что приватизация в России была осуществлена именно этим стратом, предопределил и особенности *нравопреимственности*.

По этой же причине понятие «элита» почти не применимо к слою малокомпетентных и тем более «много берущих» лиц, которые в силу катаклизмов последнего времени всплыли на поверхность публичной политики. Слишком открыто и наивно они демонстрируют органичные для своего узкого круга качества – девиантность публичного поведения, тесные связи с криминалом как одним из скрытых акторов внутренней политики и готовность стать посредниками в переделе доставшейся по случаю территории. Хотя эти качества, возможно, в какой-то степени присутствуют и даже прогрессируют и у определенной части современной мировой политической элиты (иначе трудно объяснить ее толерантное отношение к фактам хищнического и откровенно криминального вывоза ресурсов и капиталов из России), но они никогда не выставляются на показ. Редкие представители зарождающейся национальной политической элиты России стремятся избегать даже намека на функциональную принадлежность к этой удушающей все живое «тонкой пленке» (ленинское выражение), покрывшей, подобно нефтяному пятну огромных размеров, российское общество и создающей заведомо ложное впечатление о современной России. Нежелание многих нормальных людей отождествлять себя с нынешней элитой понятно, поскольку отличительным качеством любой элитарной группы является, как минимум, понимание непреходящей *ценности* или хотя бы *цены* своего честного имени и, как максимум, наличие целого ряда других признаков, узнаваемых в мировом сообществе и объединяющих высоких профессионалов – ответственности, мастерства, личного достоинства.

В-пятых, университеты – это *хранители уникального опыта университетской автономии и самоуправления* в выборе направлений исследований и образовательных стратегий на уровне факультетов. Эти и другие академические свободы могут сохраняться при любых режимах как островки демократии, поскольку они, согласно определению, данному И. Кантом в «Споре факультетов», совершенно *безопасны для власти*. Причина их «безвредности» заключается, по Канту, в том, что «аудиторией настоящего ученого, если он не шарлатан, не может быть ни толпа, ни гражданское общество, а только узкая сфера людей, владеющих научными познаниями и принадлежащих к ученому сословию». Развивая эту мысль, отметим любопытную закономерность: политическая безопасность академической демократии для любой системы, в том числе и для демократических режимов, которые переносят критику в свой адрес ничуть не менее болезненно, чем тоталитарные режимы, объясняется, прежде всего, тем, что университеты являются государствами в государстве, так как обладают определенной независимостью, автономией. Парадокс в том и заключается, что, урезая академическую демократию в целях обеспечения собственной безопасности, власть достигает прямо противоположного результата, провоцируя студенческие волнения или, что намного хуже, воспроизводя социальную апатию в высших слоях общества и безразличие масс к политическим ценностям, в том числе и демократическим.

Да, в университетах открываются возможности и стимулы для *конкуренции идей* (теорий, школ, направлений), которая доминирует над *конкуренцией людей*. Последнее обстоятельство открывает природу академической автономии и преимущества узкой специализации, которая создает предпосылки для сотрудничества в сфере междисциплинарных контактов, информации и коммуникаций. Вместе с тем это *прибежище свободы творчества и поле самореализации* становится все уже в современном мире, а иногда и сводится на нет наличием или дефицитом финансирования, но в еще большей степени – самим фактом финансирования *заказанных программ и проектов*. Наверное, нет ни одного исследования по академической демократии, где демонстрация этой ее оборотной стороны не использовалась для описания *границ демократии* – и академической, и политической.

Вопрос *об академической демократии в демократической России* в настоящее время представляется трудноразрешимым, поскольку кризис отечественной науки и всей социальной сферы, по нашему убеждению, не только не преодолен, но и не осмыслен должным образом на политическом уровне. Лучшее всего этот чисто русский парадокс был сформулирован Ф.М. Достоевским в «Дневнике писателя» за 1880 год в форме риторического вопроса, и даже не вопроса, а приговора: «Почему в Европе называющие себя демократами всегда стоят за народ, по крайней мере, на него опираются, а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит в руку всему тому, что подавляет народную силу, и кончает господчиной. О, я ведь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но в бессознательности-то и трагедия».

¹ Известное изречение К.Маркса («Тезисы о Фейербахе») о предназначении научного знания, согласно которому «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело состоит в том, чтобы изменить его» никогда не было девизом академической науки и образования, хотя оно имеет самое прямое отношение к политической социальной инженерии в ее современных интерпретациях. Напомним, что проблема обнаружения принципиальных отличий утопической (марксистской) социальной инженерии от демократической социальной инженерии была поставлена в книге К.Поппера «Открытое общество и его враги».